

XI

Я задумал написать историю побежденных в Июньские дни. Я разыскал многих из них. Все они очень бедны, но почти все, несмотря на нищету, сохранили свое достоинство. И только некоторые из них, привыкнув к безделью в тюрьмах, взвалили на жен всю тяжесть труда и заботу о прокормлении семьи.

Многие из этих женщин оказались настоящими героинями. Пока отцы были в Дулланде или на каторге, они растили детвору, отказывая себе во всем, лишь бы маленькие граждане не чувствовали ни в чем недостатка; проявляли необычайную изобретательность и мужество в изыскании ремесла, промысла, способа заработать кусок хлеба. И малютки – будущие инсургенты – росли.

Правда, несколько молодых девушек исчезло в том возрасте, когда голубой бант кружит голову, а нищета заставляет дурнеть. Какая скорбь поселяется в мансарде, когда, возвратившись, изгнанник находит там только затасканный и грязный образ ребенка, которого в одно далекое воскресенье он сфотографировал за десять су на ярмарке в окрестностях Парижа. Было чертовски трудно заставить девочку сидеть спокойно; папа должен был по крайней мере раз десять поцеловать ее и просить быть умницей.

И она была ею.

Но вот уже давно она больше не умница, и никто даже не знает, где она находится. Она не решается навестить мать из боязни, что отец набросится на нее.

– Нет, ни за что! – сказала мне одна из них, заливаясь слезами. – Я боюсь, что он расплачется!

Я живу в этом мире блузников и чувствую себя более взволнованным, чем когда-то среди толкователей *Conciones*[73] в мире античных героев. Их каски, туники и котурны быстро надоели мне.

Но, общаясь с моими новыми товарищами, посещая простых людей, я вдруг почувствовал презрение и к якобинскому хламу.

Весь этот вздор о девяносто третьем годе производит на меня впечатление кучи изодранных, выцветших лохмотьев, какие приносят тряпичнику дядюшке Гро в его открытую всем ветрам лавчонку на улице Муфтар.

Время от времени дядюшка Гро оказывает мне честь, приглашая к себе обедать, и я счастлив от сознания, что меня, деклассированного, любит и уважает этот человек регулярного труда с корзиной за спиной. Он велит прибавить для гражданина Вентра кусок сала в кипящий котелок, от которого так вкусно пахнет среди отбросов реки Бьевры, и говорит хозяйке:

– Нечего экономить, старуха, была бы только похлебка каждый день.

Затем, обращаясь ко мне:

– Жизнь тяжела, это верно, но нас, рабочих, утешает, что образованные люди, вроде вас, переходят на сторону пролетариев. Кстати, обещайте, что, если когда-нибудь мне придется взяться за ружье, которое вечером двадцать четвертого июня я закопал у Гобеленов, вы придете поесть супу на баррикаду, как пришли сюда. Хорошо?

И жена его отвечает с серьезной улыбкой:

– Да, я уверена, отец, что господин будет заодно с несчастными.

Я указал на кусочек красной фланели, показывающей язык из пасти мешка.

– Мы привяжем его к штыку.

– Ах, молодой человек, ведь вся суть не в Марианне[74], а в Социальной[75]. Когда мы дождемся ее, из трехцветных знамен можно будет корпию щипать.

Социальная и Марианна – два врага.

Старики Июньских дней 48-го года рассказывали мне, что, когда к ним в тюрьмы бросили участников 13 июня 49-го года[76], вновь прибывших встретили неприязненными взглядами и грозными жестами, и с первого же дня их разделила стена. Между головами в одинаковых тюремных колпаках происходили жестокие столкновения, хотя на общих церемониях, на похоронах и в дни разных годовщин у всех в петлицах красовалась неизменная пунцовая иммортель.

Непримиримая ненависть существовала между отдельными партиями, и достаточно было любого предлога, чтобы она вырвалась наружу. Из-за плохо огороженного садика, из-за веточки клубники, выступающей за линию камней, образующих границу, из-за настурции, вытянувшейся по стенке между камер двух противников, – по малейшему поводу бросали друг другу в лицо обвинения в неудачах и ошибках революции.

Я многое узнал в кабачке, принадлежащем бывшему заключенному дулланской тюрьмы; там уцелевшие участники восстания собирались в вечера получки или в дни безработицы.

Каждый приходил туда, чтобы высказаться, поделиться впечатлениями о трагических днях, сделать вывод из воспоминаний о зловещей битве.

Лучший говорун этой компании – парень с серыми блестящими и острыми, как сталь, глазами; щеки его точно покрашены, лоб непомерно широк, – как у некоторых актеров, выбривающих его, чтоб придать больше благородства своей наружности, – длинные волосы падают локонами, как у скоморохов и поэтов.

Ему недостает только медного обруча, придерживающего парик акробатов, или венка из бумажных цветов, увенчивающего поэтов на литературных состязаниях.

Никто не сказал бы, что это – бывший столяр, осужденный на вечную каторгу за то, что в своем грубом, повязанном на животе фартуке он искусно возвел на углу Черного рынка баррикаду из камней разобранной мостовой.

Сейчас, когда его ремесло не в ходу, он стал маклером и, если верить ему, понемногу зарабатывает себе на жизнь. Он носит синий сюртук – очень опрятный, но вместе с тем не расстается с картузом.

– Это сохраняет мою шляпу для посещения клиентов, – говорит он. – Да и, кроме того, товарищи, я по-прежнему остаюсь рабочим, странствующим рабочим, вместо того чтобы быть прикрепленным к месту, – вот и вся разница.

– А как Рюо?[77] Давно ты его не видал?

– Нет. Почему ты спрашиваешь?

– Да ты и в самом деле ничего не знаешь: говорят, он был шпиком.

– Поговорим о чем-нибудь другом, друзья, – прервал старый Мабилль. – Все мы оказались бы шпиками, если слушать все, что говорится. Но вот тем, о которых это будет доказано, не мешало бы пустить кровь... чтоб другим было неповадно.

Папаша Мабилль[78] – бывший чеканщик. Среди притупляющего безделья тюрьмы он утратил сноровку своего ремесла и сделался уличным торговцем.

Но в долгие годы заключения он учился по книгам, которые брал у товарищей из соседних камер. Он много размышлял, спорил, делал выводы. Его высокий, изборожденный морщинами лоб свидетельствует о работе мысли. У этого продавца вееров и абажуров – в зависимости от сезона – лицо философа-бойца. Если б на нем был черный сюртук, люди останавливались бы перед этим высоким стариком, почтительно склоняясь перед его величественной внешностью.

«Что он преподает?» – спрашивали бы субъекты из Сорбонны и Нормальной школы.

Что он преподает?.. Его кафедра передвигается вместе с ним. То это столик в маленьком кабачке, облокотившись на который, он призывает молодежь к восстанию; то это взятая на баррикаде бочка, с высоты которой он обращается с речью к инсургентам.

Многие из этих оборванных, чуть ли не умирающих с голоду людей читали Прудона, изучали Луи Блана[79].

И страшная вещь: в итоге всех их расчетов, в конце всех их теорий – неизменно как часовой стоит восстание.

– Нужна еще кровь, видите ли!

А зачем?

Почему эти люди, неизвестно чем существующие, с такими ничтожными потребностями, почему они, похожие на старых святых с длинной бородой и кроткими глазами, любящие маленьких детей и великие идеи, – почему подражают они пророкам Израиля и верят в необходимость жертвы и неизбежность гекатомбы?

Как-то на днях, когда восьмилетняя девчурка обрезала себе палец, здоровенный дядя с волосатой грудью упал в обморок. Нужно было видеть, как вся эта «дичь» государственных тюрем бросилась утешать и целовать ребенка. Один смастерил ей куклу из тряпок, другой купил игрушку за су... Это су было отложено на табак, и он не курил весь вечер. Палец завязали тряпкой, волнуясь при этом больше, чем если бы перевязывали рану искалеченного бойца где-нибудь на перекрестке во время уличного боя.

Парень с острыми глазами задумал книгу. Он пишет; я это подозревал.

– Да, я заносил в тетрадь все, что видел в Тулоне. У меня две тетради, вот таких толстых! Я покажу их вам, если вы зайдете ко мне.

Мы условились о дне встречи.

– Вы увидите мою жену, она дочь Порнена, Деревянной Ноги .

Хрупкое, тоненькое, полное благородства создание, грациозное, смертельно печальное... Безграничная грусть выдает неизлечимое, глубоко спрятанное страдание. Преждевременные поседевшие волосы свидетельствуют о пережитом потрясении; какое-то страшное неожиданное открытие посыпало пеплом эту юную голову, заставило поблекнуть нежное лицо, исполосовало его тонкими, как шелковые нити, морщинками.

Она едва ответила на банальное приветствие мужа, а меня встретила почти с неприязнью.

Я заговорил с ней об ее отце, знаменитой Деревянной Ноге , сыгравшем известную роль в истории февральских событий.

– Да, я дочь Порнена. Отец мой был честный человек.

Она повторила это несколько раз: «Честный человек!» И, опустив глаза и прижимая к груди маленькие ручки, отодвинула свой стул из боязни, как показалось мне, чтобы муж не задел ее, разыскивая свою рукопись по всей комнате.

Наконец, хлопнув себя по лбу, он воскликнул:

– Вспомнил: она внизу!

И он пошел крадущимися шагами, сгорбившись, волоча ногу, неуклюже, но глаза его все время сверкали и пронизывали мрак окутанной сумерками комнаты.

Ставни оставались закрытыми; женщина не распахнула их даже тогда, когда мы вошли, как будто не хотела пролить свет на свои слова.

Пока мы оставались наедине, она произнесла только одну фразу:

– Вы участвуете в заговоре вместе с моим мужем?

– Я не заговорщик.

Она ничего не ответила, и мы молча сидели в темноте.

Он вернулся со своими тетрадами.

– Конечно, это изложено не так, как у профессионального писателя, но здесь много всяких воспоминаний. Используйте их для вашей работы. Но упомяните и мое имя: пусть узнают, что приговоренные к каторге за Июньские дни не были ни такими ужасными невеждами, ни такими страшными злодеями, как их считают.

Она подняла веки и так посмотрела на мужа, что даже я весь похолодел, задетый по пути этим ледяным взглядом. А он, провожая меня, старался заглушить шаги и голос, как это делают в доме, где лежит умирающий или покойник и где нельзя говорить громко.

Я спустился в центр Парижа по безмолвным мрачным улицам, мучимый тревожными мыслями, спрашивая себя, какая драма разыгрывалась между этими двумя существами?

– А, так вы ходили туда, – сказал мне старик, бежавший из дулланской тюрьмы. – Его жена была дома? Молодец женщина! Я видел ее в деле, когда она была еще совсем молоденькой девушкой... крохотная, как мушка, и веселая, как жаворонок. Он даже не заслуживает такого счастья.

– Ну, ясно! Разве ты не знаешь, ведь о нем говорят то же, что и о Рюо, – будто он из шпикиов?

– Едва ли! Будь это так, не смотрите, что она такая малютка, – она взяла бы его за усы и, отхлестав по щекам, притащила бы к нам. И передала бы его Мабиллю, чтобы тот пустил ему кровь. Не так ли, Мабилль?

– Да. Если б только ей не было слишком стыдно; а может быть, она его любит... Бывает и так.

В это время кто-то вошел.

– О ком вы говорите?

– О Ларжильерере[80].

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 30 апреля 2026 15:01:33

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 30 апреля 2026 15:02:24